

## Содержание

1. Ведомые мертвецом . . . . .	3
2. Семья встречается снова . . . . .	35
3. Мощь леса. . . . .	64
4. Все сущее, явное и кажущееся, — всего лишь сон сна . . . . .	94
5. Король супермаркета . . . . .	123
6. Футбол через сто лет . . . . .	155
7. Снова танцы во славу Будды. . . . .	184
8. Сказать правду? . . . . .	215
9. Свобода изгнанного . . . . .	244
10. Призрачный бунт. . . . .	279
11. Могущество мух: они выигрывают сражения, отупляют наши души, терзают тела . . . . .	308
12. Умереть в отчаянии. Вы и теперь уже можете постичь смысл, заключенный в этих словах? Это не просто умереть. Это умереть в позоре, ненависти и страхе, раскаиваясь в своем появлении на свет, — разве не так? . . . . .	339
13. Новое рассмотрение дела . . . . .	374

## 1. Ведомые мертвецом

Пробуждаясь в предрассветной мгле, я пытаюсь отыскать в себе жгучее чувство надежды, но обнаруживаю лишь горький осадок сна. Мои лихорадочные поиски, движимые мыслью, что чувство надежды, такое же жгучее, как и опалившее внутренности виски, снова вернется ко мне, всякий раз оказываются тщетными. Я сжимаю обессилевшие пальцы. Каждый мускул, каждая косточка кажутся непомерно тяжелыми, но с приближением рассвета это ощущение неохотно покидает меня, уступая место острой боли. И я с покорностью снова обретаю свое отяжелевшее тело, испытывающее острую боль в каждой частице в отдельности, не ощущающее, что эти частицы как-то связаны между собой. И, настойчиво избегая воспоминаний о том, что это за поза и отчего я принял ее, скрючившись, засыпаю.

Каждый раз, просыпаясь, я снова и снова стараюсь обрести жгучее чувство надежды. Не ощущение утраты, а жгучее чувство надежды, позитивное, существующее само по себе. Убежденный, что мне не удастся его обнаружить, я пытаюсь вновь

толкнуть себя в пропасть сна: спи, спи, мир не существует.

Но в это утро боль во всем теле, словно от страшного яда, не дает окунуться в сон. Рвется наружу страх. До восхода, пожалуй, еще не меньше часа. И до тех пор не узнаешь, какой сегодня будет день. Точно зародыш в утробе матери, я лежу в темноте, не представляя, что происходит вокруг. Раньше в такие минуты можно было предаться дурной привычке. Но сейчас, когда тебе двадцать семь лет, ты женат и даже имеешь ребенка, который находится в клинике для умственно отсталых детей, вскипает стыд, стоит представить себя занимающимся рукоблудием, и я убиваю это еще не успевшее родиться желание. Спи, спи, а если не можешь, то хоть притворись спящим. Неожиданно из тьмы в моем воображении всплывает прямоугольная выгребная яма, которую вчера вырыли рабочие. В больном теле скапливается разрушительный горький яд и медленно, точно паста из тюбика, начинает сочиться из ушей, глаз, носа, рта...

В полусне я встаю и, поминутно останавливаясь, плетусь в крошечной тьме. Глаза закрыты, и я, беспрерывно натываясь то на дверь, то на стену, то на мебель, точно в бреду, издаю жалобные стоны. Правый глаз все равно ничего не видит, сколько ни напрягайся, даже в ясный день. Смогу ли я когда-нибудь постичь скрытый смысл обстоятельств, при которых я потерял правый глаз? Это был нелепейший случай. Однажды утром, когда я шел по улице, разбушевавшиеся школьники с воплями бросались камнями. Мне угодили в глаз, я упал на мостовую,

так и не успев понять, что произошло. Правый глаз — и белок и зрачок — оказался рассеченным и перестал видеть. Мне и сейчас кажется, что я не до конца понимаю истинный смысл происшедшего. Может быть, я просто боюсь понять его.

Если идешь, прикрыв ладонью правый глаз, то обязательно натыкаешься на предметы, поджидающие тебя справа, и ударяешься о них. Естественно, что на правой половине моей головы появлялись все новые и новые ссадины. Я уродлив. Это постоянно внушала мне мать еще до того, как я ослеп на один глаз. Предсказывая, каким уродом я вырасту, она всегда сравнивала меня с младшим братом, обещавшим превратиться в красавца. Так что постепенно я свыкся с мыслью о своем уродстве. А вытекший глаз усугубляет и постоянно подчеркивает его. Врожденное уродство старается укрыться в тень и помалкивать. И вытекший глаз виноват в том, что я вытаскиваю его на свет божий. Я придумал занятие для погруженного во тьму глаза. Глаз, потерявший способность видеть то, что меня окружает, я превратил в глаз, широко открытый во тьму черепной коробки. И этим глазом я всегда пристально вглядываюсь в наполненную кровью горячую тьму — жарче температуры моего тела. Я сам назначил себя в разведку, чтобы, вглядываясь в ночной лес во мне, приучиться следить за происходящим внутри меня.

Пройдя столовую и кухню, я нащупываю дверь, распахиваю ее и только тогда открываю глаза — в предрассветной осенней дымке белеют лишь далекие горы. Подбегает черная собака и начинает ла-

ститься ко мне. Но сразу же, уловив мой запрет, так и не залаяв, съеживается и смотрит на меня, выставив из темноты мордочку, похожую на гриб. Я подхватываю ее под мышку и медленно иду вперед. От собаки пахнет. Она прерывисто дышит. Под мышкой становится жарко. Может быть, собака больна? Босой палец натывается на доску, ограждающую яму. Тогда я спускаю собаку на землю, рукой нащупываю лестницу, а потом обнимаю тьму в том месте, куда опустил собаку, — тьма оказывается наполненной ею. Невольно улыбаюсь, но улыбка мимолетна. Собака действительно больна. С трудом спускаюсь по лестнице. В лужицах на дне ямы стоит вода — ее так мало, что она не закрывает и ступни босых ног. Кажется, что яма сочится влагой. Как мясо соком. Я сажусь прямо на землю и чувствую, как вода, просочившись сквозь пижамные штаны и трусы, мочит зад, и я вдруг обнаруживаю, что принимаю это с покорностью, как человек, который не в силах ничему противиться. Но собака, естественно, может противиться тому, чтобы сидеть в воде. Собака молча, но с таким видом, будто собирается что-то сказать, примаскивается у меня на коленях и слегка прижимается ко мне жарким, дрожащим телом. Чтобы сохранить равновесие, она когтями, превратившимися в крючки, вонзается в мои колени. Я чувствую, что не в силах противиться этой боли, а через пять минут вообще становлюсь равнодушен к ней. Становлюсь равнодушен и к воде, намочившей зад. Я ощущаю свое тело — высотой в сто семьдесят два сантиметра и весом в семьдесят килограммов — как тяжесть земли, которую рабочие выко-

пали вчера там, где я сейчас сижу, и сбросили в реку. Мое тело сливается с землей. Среди всего: и моего тела, и окружающей меня земли, и сырого воздуха — живут только тепло собаки и ее ноздри, напоминающие двух блестящих жучков.

Ноздри двигаются с поразительной энергией и вбирают в себя исходящий от ямы убогий запах, точно это сказочный аромат. И потому, что возможности ноздрей до конца исчерпаны, собака уже не в состоянии различить каждый из бесчисленного множества поглощаемых запахов, а после того как я, почти лишившись чувств, прислоняюсь затылком (мне кажется, прямо черепной коробкой) к стене ямы, ей не остается ничего другого, как вдыхать тысячи запахов и ничтожное количество кислорода.

Разрушительный горький яд заливает все тело, и не похоже, что он просочится наружу. Жгучее чувство надежды не приходит, но страх покидает меня. Я становлюсь безразличным ко всему и вот сейчас безразличен даже к тому, что я обладаю плотью и кровью. Жаль только, что меня, совершенно безразличного к самому себе, не видят чьи-либо глаза. Собачьи? У собаки нет глаз. У меня, безразличного, тоже нет глаз. Как только я спустился по лестнице, сразу же закрыл глаза и сейчас сижу, не открывая их...

Потом мне привиделся товарищ, на кремации которого я присутствовал. В конце лета он выкрасил в красный цвет голову, разделся догола и повесился. Его жена, которая после ночной попойки, как больной заяц, еле приползла домой, обнаружила стран-

ный труп мужа. Почему же он не пошел на вечеринку вместе с ней? Это ни у кого не вызвало сомнений. Все знали: не пошел, чтобы остаться в своем кабинете и поработать над переводом (этот перевод мы делали вместе).

Жена товарища, точно прокрутили назад киноленту, топчя никому не видимые ночные тени, единым духом промчалась оттуда, где стояла, в двух метрах от трупа, до того места, где была вечеринка, — от ужаса волосы у нее встали дыбом, она бежала, размахивая руками, беззвучно крича, зеленые туфли все время сваливались у нее с ног, и даже после того, как сообщили в полицию, она все продолжала всхлипывать, пока ее не увели родители. Едва полиция закончила расследование, все заботы о похоронах пали на меня и бабушку покойного, оказавшуюся женщиной мужественной. Рассчитывать на его мать, страдавшую слабоумием, не приходилось. Когда я попытался смыть краску, труп, точно проявляя своеволие, неожиданно воспротивился. Мы с бабушкой, избегая соболезнований, никого к нему не пускали и ночь провели втроем с покойным, бесчисленное множество клеток которого, так недавно составляющих его индивидуальность, непрестанно, стремительно и незримо разрушалось. Расползающиеся, безвозвратно теряющие форму розоватые клетки сдерживала, точно плотина, ссыхающаяся кожа. Этот человек, ставший теперь трупом с красной головой, жил, как это ни горько, будто протискиваясь изо всех сил сквозь узкую дренажную трубу, и сейчас, когда уже почти пробрался сквозь нее, выглядевший гораздо собраннее,

до ужаса реальнее в своем существовании, чем за все двадцать семь лет пришедшей к концу жизни, лежал на простой солдатской койке и надменно разлагался. Плотина из кожи вот-вот прорвется. Забродившие клетки гонят, точно спирт, вполне конкретную смерть тела. И оставшимся в живых положено испить это. Меня влекут таинственные минуты, которые рождает тело товарища вместе с пахнущими лилией гнилостными бактериями. Глядя на чистую сферу времени, когда труп товарища, пока он существует, непрерывно совершает свой единственный полет, я убедился в непрочности еще одного, иного времени, способного повторяться, мягкого и теплого, как темя младенца.

Мне трудно преодолеть зависть. Когда я навеки сомкну глаза, товарищ не увидит, как мое тело будет разлагаться, и не сможет постичь истинный смысл происходящего.

— Надо было уговорить его вернуться в санаторий.

— Нет, он больше не мог туда поехать, — возразила бабка. — В санатории он себя вел прекрасно, все больные так уважали его. И тем не менее он уже не мог оставаться там. Вы просто забыли об этом и теперь совершенно напрасно упрекаете себя. Что ни делается, все к лучшему — это ведь действительно очень хорошо, что, выйдя оттуда, он смог хоть немного пожить на свободе. Если бы он там покончил с собой, то ему, наверное, не удалось бы повеситься, выкрасив голову в красный цвет и раздевшись догола. Больные, так уважавшие его, определенно бы помешали.